

П Р О З А

Р О М Е Н А **ГАРИ**

О Т А В Т О Р А

Событий, описанных в этом романе, в действительности никогда не происходило. И персонажей, изображенных в нем, никогда не существовало.

Я выбрал местом действия моей истории Французскую Экваториальную Африку, потому что я там жил и тем самым мог избежать всякого сходства с подлинной местностью, людьми и обстоятельствами.

А может, потому что я не забыл, как именно ФЭА первой откликнулась на знаменитый призыв бороться против бесправия и отчаяния, и что отказ моего героя подчиниться человеческой слабости и жестокому закону, под которым мы живем, отозвался в моем сознании другими легендарными временами...

Тема моей книги отражает реальный факт: истребление великой африканской фауны, и особенно слонов...

Что же касается более общей проблемы защиты природы, то в ней, естественно, нет ничего специально африканского; об этом мы давненько вопим не своим голосом.

А тем, кого удивит моя забота о красоте нашей земли, кто, быть может, сочтет эту заботу «претенциоз-

ной» или чрезмерной в ту пору, когда мы должны защищать само достоинство человечества, которому грозят самые древние силы зла, я отвечу, что верю в нашу душевную щедрость, — она позволит нам отяготить себя заботой и о слонах, как бы ни трудна была наша борьба и как бы ни жестоки были условия поступательного движения в будущее.

Люди всегда отдавали самое дорогое, чтобы сберечь в жизни хоть какую-то ее красоту.

Какую-то красоту ее природы...

И наконец, так как в романе попутно затронут национальный вопрос, то для тех, кто желал бы знать точку зрения автора на это, я хочу сказать следующее: в моей книге отражен важнейший для всех нас вопрос о защите природы, и задача эта настолько громадна по своим последствиям в эпоху водородной бомбы, нищеты, порабощенного сознания, рака и целей, которые оправдывают средства, что только могучее усилие нашего гения и то людское братство, на которое мы способны, могут эту задачу решить. Я, во всяком случае, не понимаю, как можно возложить ответственность за это благородное дело на тех, кто черпает свою политическую силу из первобытных источников расовой и религиозной ненависти или же из пламенной мистики. История нашего века доказала с кровавой неопровержимостью — в моей семье из восьми человек погибло шестеро, а из двухсот моих товарищей, летчиков 1940 года, в живых осталось пятеро, — что националистические принципы всегда утверждаются могильщиками свободы, что никакие права человеческой личности не соблюдаются на триумфальных дорогах «строителей тысячелетнего царства», гениальных «отцов народов» и «меча Ислама» и

что, применив кое-какую сноровку, обеспечив себя для начала крепкой партией, потом крепкой полицией и хотя бы толикой трусости у противника, не так уж трудно расправиться с народом во имя права народов распоряжаться своей судьбой.

Я верую в личную свободу, в терпимость и в права человека. Быть может, и тут речь идет об анахронизме — о вышедших из моды слонах, громоздком пережитке ушедшей геологической эпохи, — о гуманизме. Я так не думаю, потому что верю в прогресс, а истинный прогресс неотъемлем от условий, необходимых для его движения. Возможно, что я обманываюсь и моя вера — лишь простая уловка инстинкта самосохранения. Тогда я надеюсь погибнуть вместе с ними. Но не раньше чем попытаюсь их защитить всеми силами от разгула тоталитаризма, националистов, расистов, мистиков и маньяков. Никакая ложь, никакая теория, никакое словоблудие, никакая идеологическая маскировка не заставят меня забыть их простодушного величия.

Я хочу поблагодарить Клода Эттье де Буаламбера за оказанную им техническую помощь, а также за то, что он, будучи президентом Международного комитета по охоте, не переставал поощрять фотоохоту и бороться со злоупотреблениями тех, кто находит психологическое удовлетворение в охотничьих трофеях. Я приношу свою благодарность также профессору де Хоорну, докторам Рене Ажиду, Конраду Сарториусу и всем, кто так дружески и с таким постоянством поддерживал меня, прежде всего Жану де Липковски, Ли Гудмэну, Роже Сент-Обэну и Анри Оппно, которому я посвящаю свою книгу.

II

Дорога с рассвета шла по холму, сквозь заросли бамбука и трав, где и лошадь, и всадник зачастую совсем пропадали из виду; потом снова появлялись белый шлем иезуита, крупный костистый нос, мужественный насмешливый рот и пронзительные глаза, которым куда привычнее было созерцать безбрежные просторы, чем страницы требника. Будучи высок ростом, он плохо уместился на пони по кличке Кирди; ноги, покрытые сутаной, упирались в слишком короткие стремяна и были согнуты под острым углом — всадник порою чуть не вываливался из седла, когда резко поворачивал свой конкистадорский профиль, чтобы полюбоваться окружавшим пейзажем: горы Уле производили на него какое-то особое, радостное впечатление. Три дня назад он оставил раскопки, которые возглавлял по поручению французского и бельгийского институтов палеонтологии, и, проехав часть пути в джипе, вторые сутки подряд тряся в сопровождении проводника верхом через заросли, направляясь к тому месту, где должен был находиться Сен-Дени. Проводника он не видел с самого утра, но тропа шла прямо, и временами

впереди слышались шелест травы и стук деревянных башмаков. То и дело его одолевала дремота, нагоняя дурное настроение: он не любил вспоминать о своих семидесяти годах, но после семи часов, проведенных в седле, уже не мог справиться с некоторой приятной расслабленностью, которую осуждали совесть духовника и разум ученого. Иногда он останавливался и поджидал слугу с лошастью, которая везла ящик с кое-какими интересными обломками — результатом последних раскопок — и рукописями — с ними он не расставался никогда. Дорога поднималась не очень круто; у холмов были мягкие склоны, порой они начинали шевелиться, оживать — там двигались слоны. Небо, как всегда, было непроницаемым, дымчатым, светящимся, затянутым испарениями африканской земли. Даже птицы, казалось, могли в нем заблудиться. Тропа пошла вверх, и на одном из поворотов иезуиту открылась равнина Ого, поросшая густой курчавой растительностью, которая ему не нравилась; она так же отличалась от величественных лесов экватора, как грубая щетина от пышной шевелюры. Он рассчитывал добраться до места в полдень, но лишь к двум часам дня поднялся на вершину холма. Перед палаткой начальника он увидел слугу, который, присев у догоравшего костра, чистил котелки. Иезуит сунул голову в палатку, где на походной койке спал Сен-Дени. Гость не стал того будить, подождал, пока и для него поставили палатку, привел себя в порядок, выпил чаю и немного поспал. Проснулся он с ощущением усталости во всем теле. Полежал какое-то время, вытянувшись на спине, подумал, как грустно, что ты так стар, что времени у тебя осталось немного и надо довольствоваться теми знаниями, которые ты

успел приобрести. Наконец он выбрался наружу и нашел Сен-Дени, который курил трубку и глядел на холмы, еще освещенные солнцем, но уже словно бы тронутые неким предчувствием. Сен-Дени был невысок ростом и лыс, щеки его заросли косматой бородой, а глаза, занимавшие, казалось, чуть не все изможденное лицо с высокими скулами, были прикрыты очками в стальной оправе; узкие, сутулые плечи говорили о сидячем образе жизни, хотя их обладатель и являлся последним хранителем огромных африканских стад. Мужчины немного поболтали об общих знакомых, обменялись слухами насчет войны и мира, потом Сен-Дени расспросил отца Тассена о работе; его особенно интересовало, правда ли, что в связи с последними открытиями в Родезии можно утверждать, будто Африка действительно колыбель человечества. Наконец иезуит задал свой вопрос. Сен-Дени словно и не удивился, что выдающийся член Святейшего Братства в возрасте семидесяти лет, имеющий среди миссионеров репутацию человека, гораздо более занятого наукой о происхождении человека, чем спасением души, проехал два дня верхом, чтобы расспросить о девушке, чья красота и молодость, казалось, не должны интересовать ученого, привыкшего вести счет на миллионы лет и целые геологические эпохи. Поэтому отвечал он откровенно, со все возрастающим жаром и странным чувством облегчения. Потом он не раз спрашивал себя, не приехал ли отец Тассен только для того, чтобы помочь ему скинуть бремя одиночества и воспоминаний, которые так его угнетали. Иезуит слушал молча, с какой-то отчужденной вежливостью, ни разу не пытаясь помочь утешениями, которыми так славилась его религия. Разговор затянулся до ночи, но

Сен-Дени продолжал свой рассказ, прервавшись лишь однажды, чтобы приказать слуге Н'Голе зажечь костер. Пламя сразу же прогнало с неба последние проблески света, и им пришлось отодвинуться от огня, чтобы не лишиться общества холмов и звезд.

III

— Нет, я не могу утверждать, что хорошо ее знал, но много о ней думал, а это тоже способ общения. Она не была со мной откровенна и даже честна: из-за нее меня лишили управления округом, которым я так дорожил, и поручили надзор за этими громадными стадами африканских животных. Мои наивность и доверчивость доказывали, что я куда больше приспособлен управлять животными, чем людьми. Я не жалею, наоборот, считаю, что со мной поступили даже мягко; меня ведь могли просто-напросто выслать из Африки, а в моем возрасте такую встряску и не переживешь. Что же касается Мореля... О нем уже все сказано. Думаю, что этот человек в своем одиночестве зашел дальше других, а это, между прочим, большое достижение, ибо, если уж побивать рекорды одиночества, не каждый из нас откроет в себе чемпиона. Он часто приходит ко мне в бессонные ночи — сердитый, с тремя глубокими складками на высоком упрямом лбу под взъерошенными волосами, держа свой знаменитый портфель, набитый петициями и воззваниями в защиту природы, с которым не расставался. Я часто слышу его голос с неожиданными для образованного человека простонародными нотками: «Все

очень просто. Собак нам уже мало. Люди ощущают себя до смешного одинокими, им нужно общение, им нужно нечто крупное, могучее, на что можно положиться, нечто и в самом деле обладающее стойкостью. Собак людям уже мало, им нужны слоны. Поэтому я и не желаю, чтобы их трогали». Он заявляет это совершенно серьезно, стукнув по прикладу карабина, словно чтобы придать больше весу своим словам. О Мореле говорили, будто его приводила в отчаяние людская порода и он был вынужден защищать свою чрезмерную ранимость с оружием в руках. Говорили без шуток, что он — анархист, который решил пойти дальше других, порвать не только с обществом, но и с человеческой породой вообще, «волю к полному разрыву» и «к выходу из человеческой особи» — вот что эти господа ему чаще всего приписывали. Более того, всей этой чепухи им было мало, я нашел в Форт-Ашамбо старые журналы с совсем уж глубокомысленным объяснением. Оказывается, слоны, которых защищал Морель, всего-навсего символы и даже символы поэтические, а этот бедолага мечтал о чем-то вроде Исторического Заповедника, похожего на заповедники в Африке, где запрещена охота и где все наши духовные ценности, нелепые, даже отчасти уродливые и уже нежизнеспособные, так же как наши древние права человека — эти пережитки ушедшей геологической эпохи, — будут сохранены во всей своей красе как духовное наследие нашим правнукам.

Сен-Дени беззвучно рассмеялся и покачал головой:

— Что тут сказать. Мне тоже не все понятно, но придумать такое!.. Я вообще больше руководствуюсь сердцем, чем разумом, такая у меня натура, — и думаю иногда, что так легче что-либо понять. Поэтому не жди-

те от меня чересчур мудрых рассуждений. Могу лишь предложить кое-какие обломки, в том числе и себя. А в общем полагаюсь на вас — вы ведь привыкли иметь дело с раскопками, так сказать, восстанавливать истину из осколков. Говорят, будто в своих сочинениях вы предрекаете эволюцию нашей породы к совершенной духовности и всеобщей любви и что якобы этого можно достичь очень быстро, — полагаю, что на языке палеонтологии, который не вполне соответствует языку человеческих страданий, слово «быстро» означает какие-нибудь ничтожные сотни тысячелетий и что вы придаете старому христианскому понятию спасения смысл биологических мутаций. Признаюсь, мне трудно представить, какое место займет в такой грандиозной перспективе бедная девушка, помогавшая утолять далеко не духовные потребности. Ну ладно, допустим, что сойдет и Минна, я ведь знаю, какую скромную, но необходимую роль играют в Священном Писании блудницы, но какое место в ваших теориях и ваших пристрастиях может занять такой человек, как Хабиб, какой смысл можно придать тому беззвучному смеху, от которого столько раз на дню и без видимой причины трясется его черная борода, когда, растянувшись в шезлонге «Чадьена», натянув морскую фуражку, беспрерывно обмахиваясь бумажным веером, украшенным пурпурной маркой американского лимонада, и жуя мокрую погасшую сигару, он глядит на искрящиеся воды Логоне? Надо сказать, что, если вы ехали сюда, чтобы узнать причину этого вселенского смеха, ваши два дня верхом пропали не совсем даром. Я могу предложить свое объяснение. Знаете, я много об этом думал. Мне даже приходилось просыпаться в палатке, одному как перст, глядя на са-

мый прекрасный пейзаж в мире — я говорю о ночном африканском небе, — и спрашивать себя, что за причина может заставить такого негодяя, как Хабиб, беззаботно и весело смеяться. И пришел к выводу, что этот наш ливанец — человек на редкость хорошо приспособленный к жизни, что взрывы утробного смеха означают: он целиком с этой жизнью в ладу, их взаимопонимание и полное, нерушимое согласие — просто счастье, да и только. Из них получилась прекрасная пара. Вы, пожалуй, сделаете тот же вывод, что и кое-кто из моих молодых сослуживцев: Сен-Дени превратился в старого спесивца, стал ото всех обособившимся, сварливым злыднем — «он уже не наш»; там ему и место, среди диких зверей, в заповедниках, куда его благоразумно и заботливо сослало начальство. И все же трудно было не поражаться тому здоровью и довольству, которые излучал Хабиб, его геркулесовой силе, земной устойчивости, хитрому подмаргиванию, не предназначавшемуся никому в особенности, обращенному, казалось, к самой жизни, а помня, до чего удачлива была карьера этого подлеца, нельзя было не сделать кое-каких выводов. Вы же, несомненно, знали его не хуже меня, когда он управлял делами отеля «Чадьен» в Форт-Лами вместе со своим молодым подопечным де Врисом, после того как это заведение во второй или третий раз перешло из рук в руки, — раньше дела там шли не блестяще. По крайней мере, пока не появились господа Хабиб и де Врис, которые открыли бар, выписали барменшу, устроили танцевальную площадку на террасе над рекой и стали щеголять всеми признаками растущего благосостояния, истинные источники которого обнаружались гораздо позже. Де Врис делами отеля не занимался. В Форт-Лами

его видели редко. Большую часть времени он проводил на охоте. Когда Хабиба спрашивали, куда делся его компаньон, он беззвучно смеялся, а потом, вынув изо рта сигару, делал широкий взмах рукой в сторону реки, голенастых пеликанов, которые рассаживались в сумерки на песчаных отмелях, и кайманов, подражавших древесным стволам на берегу Камеруна.

«Что поделаешь, милый мальчик не очень-то в ладу с природой, — он преследует ее повсюду. Лучший стрелок в здешних местах. Показал себя в Иностранном легионе, а теперь должен довольствоваться более скромной дичью. Настоящий спортсмен в полном смысле слова», — Хабиб всегда говорил о своем компаньоне со смесью восхищения и издевки, а иногда даже с ненавистью. Нельзя было не заметить, что дружба между этими людьми скорее объясняется какой-то тайной взаимосвязью, независимой от их воли. Я видел де Вриса всего раз, вернее, встретил на дороге возле Форт-Ашамбо, когда он возвращался с охоты в джипе, который вел сам и за которым ехал грузовичок. Прямой и тощий как жердь, с волнистыми светлыми волосами и довольно красивым лицом прусского типа. Он посмотрел на меня своими светло-голубыми глазами, взгляд которых показался мне, несмотря на мимолетность встречи, просто поразительным. Де Врис заливал в бак бензин из канистры и, когда я подъехал, уже кончал заправку. Помню также, что на коленях он держал ружье, отличавшееся удивительной красотой: приклад был инкрустирован серебром. Он тронулся с места, не ответив на мое приветствие, бросил грузовичок на произвол судьбы, а я остался поболтать с шофером-сара, который объяснил, что они возвращаются из похода в район Ганды и что